

Miriam M. Gumbur

Пришвин М.М. Черный Араб // Собр. соч.: В 8 т. – М.: Художественная литература, 1982. – Т. 1. – С. 500-532.

ДЛИННОЕ УХО

Сама родится новость в степи или прибежит из других стран – все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.

Случается, джигит задремлет, и опустит поводья, и вот-вот прозеваает новость.

Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится.

– *Хабар бар?* (Есть новости?)

– *Бар!* (Есть!)

Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды!

И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ.

Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда – неизвестно. «Так, – говорили, – скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать, – нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному Уху:

«На пегатом коньке с лысинкой едет Черный Араб из Мекки и молчит».

Новость побежала, как буря по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд.

Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом – и прощай!

– Хабар бар? – спросят дикие

– Бар! – ответит подкованный.

И по-своему расскажет о Черном Арабе и пегатом коньке. Конь – по-своему. Я – по-своему.

Содержатель соленого озера – есть и такая должность – пустил слух из своего домика:

«Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей, и тележка».

Скоро под окном кто-то постучал и сказал:

– Араб здесь?

– Здесь араб! – ответил я и выглянул в окно.

Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна – киргиз в широком халате и с нагайкой в руке.

– Что нужно? Откуда узнал обо мне? – спросил я его.

– От Длинного Уха, душа моя, – ответил этот киргиз и засмеялся.

Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках.

Мы долго чему-то смеялись.

У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошечки, и все веревочки – все в лучшем виде.

– Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и саврасая. Чистые слова, – говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ.

– Чистые, чистые, – повторял я за ним.

– Ты, душа моя, верь мне, – просил он, – другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!» – а я такой привычки не имею.

Мы скоро поладили

Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам.

– Что, как убьют? – спросил я.

– За что убьют? – ответил Исак. – Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело!

И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком – в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное Ухо насторожилось.

– Хабар бар? – спрашивают одни.

– Бар! – отвечают другие. – Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади.

Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись, и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов.

Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро – одно из тех обманчивых озер пустыни – блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями.

И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда – все будто рукой сняло.

Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками.

– Ка! – кличет ее по-своему Исак.

Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы?

– Ка! – зову я собаку.

Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а вперед без конца дорога, как две змеи.

Она садится на сухую землю и воет.

– Ка! Ка! – кричим мы в последний раз и трогаем лошадей.

Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна и ничего с ней не случилось: не все равно, какому служить хозяину; впереди, как назад. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьям!

Свет и тишина... Собака бежит покорная. Но вой остался! в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное Ухо

услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина.

Пусто!

Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце?

Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит солнце в пустыне,— они тоже по-своему жили и выли, и не дешево досталась пустыне ее светлая тишина с миражами.

К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: нельзя ли самим достать воду, а может, видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу.

– Алла, алла! – шепчет Исак, падая на халат, и опять поднимаясь, и опять падая.

Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони.

Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой.

В синеве заколыхалась большая белая чалма.

– Алла, алла! – быстрее замолился Исак.

– Мулла едет? – спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку.

– Узбек на верблюде, – отвечает Исак. И опять все сдунуло: не мулла, не узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне. Она потеряла мальчика.

– Не видали ли мы ее мальчика? – спрашивает женщина.

– Мы никого не видали, – ответил Исак, – только вот пристала собака. Не ее ли эта собака?

– Нет! – ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей.

– Она спрашивает, – перевел Исак, – не видали ли мы араба на пегатом коне, – не он ли унес ее мальчика?

Исак на это ответил:

– Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца.

Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила:

– Куда едет араб, зачем? Исак объяснил ей:

– Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего *Албасты*, желтоволосая бесплодная женщина.

Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась.

Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина.

И вот я – степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые, полужоженные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой – повод. И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду – киргиз, по слуху – араб, – еду и сею миражи.

Опять на горизонте показываются всадники Длинного Уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца, и вся поднимается, вся отвечает человеку.

– Берге (сюда), джигит! – кричат назад.

Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади: у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак.

– Хабар бар? – спрашивают они, когда мы съезжаем.

– Бар! – отвечает Исак.

И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются.

– Ио-о! – восклицает один.

– Э! – отвечает другой.

Только и слышно, что «о» да «э».

Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу?

Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели.

Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь, через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называемое *Сломанное Колесо*, то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу у Пегатого была лысинка.

Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи.

До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка *Закопанный Колодец* нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком.

– О чем говорили? – спросил я.

– Все о той же верблюдице, – ответил Исак. Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени.

– Про что теперь говорили? – пытал я Исака.

– Да все про ту же верблюдицу, – ответил он.

Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка.

Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся – признак близости озера. А когда наконец Исаку непременно нужно было омыться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру.

Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда Каабе.

– Алла, алла! – падает он на халат.

Два последние всадника, рассказывавшие о волке ¹¹ верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками, то сольются с землей.

– Алла, алла!

Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные.

Пока Исак молится, я хочу пройти к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, водятся гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры – намного южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко.

Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда.

Слепая тропинка.

Какая-то незнакомая птичка насвистывает.

«Что это за птичка такая? – думаю я.– Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидеть эту птичку». Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички.

Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей.

Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца – черный купол степной могилы, высокий, как храм. Возле могилы движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая:

– Чу!

– Берге! – кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак.

Старик и бык услышали.

– Чу! – крикнул старый на баранов. Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом – бык и старик.

– Руки, ноги здоровы? – приветствую я по-киргизски старика.

– Аманба, – отвечает он.

– Скот здоров?

– Аман. А как твои руки и ноги и твой скот? – спрашивает меня старик по-своему.

– Аманба. Аман, – отвечаю я.

Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак.

Глазу доброго быка между рогами и приговариваю:

– Джаксы, джаксы!

Старик смотрит в камыши с быка; увидел Исака, обрадовался, понял.

Глазу доброго старика и приговариваю:

– Джаксы, джаксы, аксакал, хороший, хороший старик.

И он, добрый, слезает.

А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку.

Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе.

Я свищу на баранов.

– Чу! – кричу на быка. – Берге, – зову старика.

Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади – и так мы шествуем навстречу Исаку.

Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет – кизяк – для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей.

– Что он рассказывал? – спросил я потом, Исака.

– Все про того же араба, – ответил Исак, – про женщину, потерявшую мальчика и про верблюдицу.

Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась – нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, Унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов.

Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная

женщина, не араб, а верблюжонка – волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал:

– Йо-о, Худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Аулие-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай!

Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая:

– Ох, уж эти бесплодные женщины!

ПЕГАТЫЙ

Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, а мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке; одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя.

В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун-мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити – такая она была большая и низкая.

– Чолпан! – сказал Исак. – Пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда.

Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться – есть и третья, и четвертая.

Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия.

Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо, с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени.

Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось.

Чай настоялся. Мы "сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай вприкуску из китайских чашек без блюдец, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту.

Что я могу сказать об этой звезде? – указал Исак кусочком сахара на небо.

– О какой? – спрашиваю я, – об этой? – и тоже своим кусочком сахара указываю на Полярную звезду.

Исак мычит в знак согласия и кивает головой.

Что я могу сказать Исаку о Полярной звезде? Да, она неподвижная.

– И по-нашему она неподвижная.

– И у нас, и у вас одинаково! – удивляюсь я.

– Все это видно на небе с древних времен, – отвечает Исак, – и у нас, и у вас, везде одинаково. У нас она называется Железный Кол. А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного Кола? – спрашивает опять Исак.

– Это две звезды в хвосте Малой Медведицы; я о них ничего не знаю.

– Это два коня, Белый и Серый, – объясняет мне Исак, – оба привязаны за Железный Кол и ходят вокруг него, как Карат и Кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, – указывает Исак на Большую Медведицу, –

семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят себе и ходят вокруг Железного Кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат.

– А эта кучка звезд? – указываю я на Плеяды.

– Эта кучка звезд – овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются?

– Неужели и волк есть на небе?

– Да вон же волк, душа моя!

И показывает мне кусочком сахара волка на небе.

– На небе, как на земле! – говорю я, удивленный

– Как в степи, – отвечает Исак, – вон и мать тоже ищет ребенка.

– Может быть, есть и араб?

– Э-э!

– И Длинное Ухо?

– Э-э!

Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость.

Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи:

– Хабар бар?

– Бар! Араб чай пьет под звездами.

Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует.

Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи.

Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами, укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту.

Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк!

Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле.

– Где лошади?

– Тут.

Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды – испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды.

Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах – саптомы, сбоку – ружье, сверху – вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей – Пегатый. Чуть что – нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка.

Вот я теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд.

Карат подошел и чешется о тележку.

– Чу, Карат! – кричит на него Исак.

Лошадь переходит на мою сторону, к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи один за другим медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного Кола.

«Отчего тут звезды такие большие и низкие?» – думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне – оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться?

– Чу, Кулат!

Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами.

Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит.

Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней – и прощай Пегатый!

Хочу встать – не могу.

А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидели Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул крутую шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки.

«Спит ли? – спит!»

Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней.

От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече.

– Хабар бар? – спрашивают старые.

– Бар! – отвечают молодые. – У края степи, возле самой пустыни спит Черный Араб, а пегатый конек с лысинкой здесь.

– Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, – поправляют старые мудрые кони, – а здесь его имя пусть будет отныне и до века – гнедо-пегий конь с белой звездочкой.

СТЕПНОЙ ОБОРОТЕНЬ

Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной; ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело.

– Это хребет земли, страна *Арка* – сказал Исак. – Счастливая страна! Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино, – лучшая в мире страна для пастухов.

Семь юрт у подножья горы, будто семь белых птиц, уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец.

– Примет ли нас Джанас? – спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской.

– Примет...

Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых жеребят Старик прикладывает руку к сердцу.

Руки здоровы. Ноги здоровы. Овцы здоровы, верблюды, кони – все здорово и у них, и у нас. Слава богу, аман!

Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты. Отец, кланяясь, просит войти; девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец.

В юрте пастухов – будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть.

Наверху круг еще синего неба; внизу на земле три черных, обожженных камня с рогулькой – очаг. За очагом, против входной двери, обращенной к Каабе, устлано ковром место для гостя, а тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешано.

Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами; у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается: Каин был земледелец, Авель – пастух.

В степи еще солнце: когда войлочная дверца открывается, и кто-нибудь входит – слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово-светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги, у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Но приглядеться – они не все одинаковы: у одного, очень толстого, такая маленькая тюленья голова; у другого, тоже толстого, с губ висят черные крысиные хвостики; у третьего, толстого, хвостики обкусаны; четвертый – поменьше всех и лицо медно-красное.

Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют.

Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный Араб. Длинное Ухо от края до края разнесло о нем весть. Едет из Мекки, но куда – неизвестно. И вот наконец попался.

– Куда едет араб?

Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает" из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что, устав, валится на подушку и храпит. Другой подвинулся...

Довольно миражей...

– Я не араб!

– Йо-о! – воскликнул толстый с тюленьей головой

– Йо! Алла! Он не араб! – заговорили другие.

И все разинули рты.

– Кто же он? Что ему нужно?

– Ему ничего не нужно, – объясняет Исак, – это ученый, он не берет от степи ничего: ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.

– Йо, Худай, не дух ли это предков, аурах?

– Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест, как киргизы, руками, богу не молится.

– Шайтан! – шепчет толстый с крысиными хвостиками.

– И не шайтан, – уверяет Исак, – шайтаны злые, это ученый из Петербурга, добрый...

– У него не мягкий ли палец на правой руке? – спрашивает толстый с обкусанными крысиными хвостиками.

У кого в большом пальце правой руки нет костей, тот Хыдыр, святой.

Смотрят на руку, трогают палец – палец у меня твердый. Гость – не араб, не аурах, не шайтан, не святой.

Исак им объясняет и час и два; лица краснеют, глаза горят, но тайна Черного Араба по-прежнему не разгадана.

Все щелкнули языками.

– Джок! Нет, непонятно.

Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают, и все щелкают языками и говорят:

– Джок! Нет, непонятно.

Чуть колышется войлок юрты: кто-то снаружи прокалывает в нем дырочку, и вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально – скроется, отвернуться – опять глядит. Нагляделся досыта, исчез; дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз, наверно, уже встретился со многими такими же узкими черным» глазами. Там собрались все женщины, шепчутся – и араб, как *степной оборотень*, превращается из мельчайшего, в булавочную головку, джинна – в ужасную Албасты. И кто знает? Быть может, тайна Черного Араба сейчас тут же, в кустах чиевника, готова остановить поцелуи влюбленных; быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли?

Но все кончилось просто.

Кто-то спросил:

– Есть ли отец у гостя?

Все обрадовались простому вопросу и подвинулись.

– Есть отец.

– А мать?

– И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка, все, равно как и у вас в степи.

– Все ли живы?

– Все живы, и все живут в Петербурге.

– Йо! – радуется старик, похожий на Авраама.

– Сколько же там в Петербурге домов?

– Тысячи!

– О! – вырвался из открытых ртов общий радостный крик.

– А есть ли в Петербурге бараны? – спросил Авраам.

– Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так.

– Как так?

– Без курдюков, с козлиными хвостиками.

Как искра, перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми, острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатами, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки – так хохочут в степи!

Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось.

Ему отвечают:

– В Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками.

Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный. Падают назад, на спины, хватаясь за животы: и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой толстый, и тот, что с тюленьей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исак. Приподнимутся, посмотрят на гостя, и опять лягут, и колышут своими животами халаты. Кто может, подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежнего таинственного и страшного, Черного Араба.

И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся влюбленные в кустах чиевника. Не смущаются мыслями бесплодные женщины в святых горах. Он не страшный, этот Черный Араб, и будто жил он тут всегда, тысячи и тысячи лет.

ОРЕЛ

Верхами на маленьких лошадаках, похожих на куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана *архара*. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы падающий камнем за добычей орел мог свободно залетать в ее отверстие и остаться в сети, бессильно распутив крылья. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере. До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть, и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, – кажется, это мальчишки змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла.

Да, он упал...

Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь. Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей.

Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте.

И вот мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка.

В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посередине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на бечеве, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака – друг человека.

Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость Мамырхан. Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку.

Наелись охотники 'баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя, непременно дернет за бечеву, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, – тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, какдохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут – только покажут! – кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого вываренного бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла.

Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте Мамырхан, довольный, улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям – орел, хватать бы его, а ведет себя, как собака – друг человека.

– Ка! – кричит киргиз. – Ка!

Орел плетется себе И над царем птиц все покатываются.

Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса:

– Ка!

Орел садится к нему на перчатку.

Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, – к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат:

– Куян!

Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается, – вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле.

Вот клевать бы, клевать и, что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты...

Мгновенье еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновение Мамырхан крикнул:

– Ка!

И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса.

И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца.

Так приучают орлов.

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову.

– Желает гость козла или барана? – спрашивает хозяин.

– Барана желает гость, – отвечает Исак.

– Молодого или старого?

– Молодого желает гость.

Старик просит прощения: летом было мало дождя, – молодые бараны сухи, но он попробует выбрать.

И уходит.

Ставят на три камня очага огромный черный железный казан, наливают в него ведрами воду, подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовятся к пиру.

Черноногий молодой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о госте, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали и как осталась долина с одним сухим тополем.

Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить.

Исак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые, умные глаза, шепчет, – и баран благословлен.

Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домбры.

Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу, между камнями, огонь горит ярче, вверху видно вечернее предзакатное небо.

Барана связали. Голову свесили в медный таз: кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылилась кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Мальчик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды.

Толстый, с тюленьей головой человек вырезал из груди барана четырехугольник, прямо с шерстью, и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он

приготовлял рогульку, мясо, оттого что в нем сокращались мускулы, зашевелилось.

Исак указал на это соседу, тот – своему соседу, и всю юрту обежало: «Мясо шевелится». Стали спорить, можно ли есть такое мясо? Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно.

Толстый растянул мясо на рогулке и, обжигая, сказал:

– Теперь оно больше не будет прыгать.

Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе, и ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела.

Медно-красный разделил тушу и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью.

Просунулись женские руки – отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое.

Наконец, красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды.

Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол и все к нему подвинулись. Достали голову и, отрезав ухо – лучшую часть, – предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, крошили туда лука, подлили из котла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно ели, тут же смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана.

Целая гора мяса лежала на блюде; двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей.

Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали. Кости белели и белели. Гора таяла. Собаки опять просунули головы в юрту.

А там, за юртой, из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блески мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные

спины. Но добрые пастухи охраняют своих овец, и девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню.

Катятся вверх прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они берутся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки – все, что второпях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачи руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает: даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина дососать и догрызть. Доев все дочиста, расходятся по своим юртам.

Мы, гости, приготавливаясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пировали. Исак дернул за веревку. Отверстие сверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятались за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза. Крались к самым кустам чиевника возле самых юрт, подбирались и прыгали.

Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом – так крикнули в ауле. Но и сквозь лай, и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка – и все дальше и дальше, тише и тише.

Не сон – этот затихающий крик. Вот и Исак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопек серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах. Медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отомстить волкам.

– Сколько утащили волки? – спрашиваю я Исака.

– Трех, – отвечает он, засыпая, – трех молодых, и у старых оторвали шесть курдюков.

Девушку долго и зло бранили женщины. Когда все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы на скалу, горный ручей, а стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут. Но кто

знает? Быть может, придет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овцу и при красном свете костра растерзают. И она будет жертвой богам, охраняющим стадо.

Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны девятого месяца лунного года, прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо.

Так от века было в долине Пестрой Змеи.

Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отомстил волкам: шесть убил и одного живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил, и он побежал.

– Ободранный? – изумился я.

– Ободранный, – ответил спокойно медно-красный, – ободранные волки немного могут бежать.

И рассказал всю свою ночную охоту.

При месяце в горах он увидел семь свежих следов. Сошел с лошади и стал идти по следам. Возле горы, где ловят беркутов, он увидал волка: то покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие шесть, сытые, спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк, как мертвый. Выстрелил – волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул – остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл, другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места, выл и стрелял. Последний волк, слегка раненный, упал в горную щель. Тут-то и поймал его охотник, ободрал и пустил, и он, черный, при месяце бежал версты три.

Так отомстил медно-красный волкам в долине Пестрой Змеи.

– Йо-йо! – удивлялись другие.

– Джаксы, мергень! – одобряли все.

И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк.

Исак дернул за веревку. Верхнее отверстие открылось, солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту.

Мы стали собираться к отъезду, а хозяева – разбирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше, на летнее пастбище, они назад – к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные, обожженные камни и белые черепа.

ЧЕРНЫЙ АРАБ

Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед, на летнее пастбище, к баю Кульдже, прозванному *степным царем*.

Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей – степных воров – для устрашения недобрых людей. «Мудрейший» судья пастухов – бай Кульджи – мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны.

Длинное Ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец восьми тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунцах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними – молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой.

Все они проводили нас к аулу Кульджи – ко многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старейший в ауле аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя. Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами.

Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик «отца пастухов». Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса, – так отлила степь своего царя.

За спиной Кульджи, неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена: байбича. По левую руку

ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика – дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя – швейная машина Зингера.

Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили:

– Слышал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?

— Э! – кивнул Кульджа в знак согласия.

– По Длинному Уху? – спросили мы.

– Слово бежит в степи всегда по Длинному Уху, – ответил степной царь. – Великое дело – слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте; мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями – и овца приносит двух ягнят. Но Длинное Ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк.

– Э! – согласились поэт, певец, музыкант и учитель.

– Что привело гостей в нашу землю? – спросил Кульджа.

– Привлекает посмотреть страну, – ответили мы, – где люди живут так, как жили все люди в глубине веков.

– Углубления и ямы страны, – ответил царь пастухов, – существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Арка – значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть.

Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Арка.

Вечерело. Стада собирались, – лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны – позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается.

– Это мои табуны, – указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую.

Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи, и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на

богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась.

Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках.

– Эта юрта моей матери, – указал хозяин на большую белую юрту, – эта – старшей жены, эта – младшей, эта – жены, доставшейся мне от покойного брата.

Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными.

Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят дойных матерей вязали на длинную веревку – овцевязь – голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор.

Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребьятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц, и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку.

В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (судья) – огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаче, и другой дядя Кульджи и с ним три провожатых на вороных аргамачах. Приехал Джанас из долины Пестрой Змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по двое, по трое, по четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких

мастей аргамаках съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные и высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Куль-джи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс.

Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поле.

Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал:

– Время рот открывать!

Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель.

Оба муллы заняли место против двери, обращенной к Каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла – все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куса масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади.

Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью.

Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло.

Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?

Не удалось: сухой шарик рассыпался.

Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал:

– Грызите!

Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье.

– Что нового расскажут ученые гости пастухам о ДРУГИХ виденных ими странах? – спросил судья.

– Недавно мы видели, – ответили мы, – такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает.

– Как же там постятся мусульмане? – сказал строго мулла. – Гость ошибается: нет такой страны.

И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы.

Хозяин вступился за гостя и сказал:

– Есть такая страна!

Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятое нами слово было: «*шерегат*».

Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане.

Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорил: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло, и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», – пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав!»

Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман».

Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю.

И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке.

Все услышали топот и подумали: волк гонит испуганный табун.

Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного Уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи.

- Аманба, аманба! – повторял заблудившийся, грея у костра руки.
- Аман! – отвечали ему и спрашивали: – Есть ли новости, хабар бар?
- Бар! – отвечал заблудившийся. – В долине *Потерянный Топор* украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей.
- Кто украл невесту?
- Не знаю, – ответил гость, – степь велика!
- Степь велика, – повторил степной царь и спросил: – Нет ли еще чего нового?
- Видел белую галку, – ответил гость.
- Белую? Мулла, есть ли белые галки?
- Есть, – ответил мулла.
- Йо! – удивились все.
- Еще видел вестник Длинного Уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты.
- Это бывает! – сказали пьющие кумыс.
- Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое.
- И это бывает! – сказали люди в халатах.
- Еще видел при наступлении ночи черного зайца.
- Черного! Мулла, есть ли черные зайцы?
- Йо-о! – удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав.
- Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы.
- Йо-о!
- Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма.
- Мулла, есть ли такая страна?
- Есть, – ответил мулла.
- Что же еще есть нового в степи? – допрашивали люди, пьющие кумыс.
- Еще что? – повторил гость. – Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный Араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.
- Он здесь! – сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот.

«Нет, – подумали мы, – здесь уже нет Черного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он – как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот».

На всю ночь запиrowал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется.

Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берет свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею.

Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла.

Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет:

– Это ты, мой медный кувшинчик?

– Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, – отвечает кувшинчик. – Это я – здоров ли язык?

– Язык здоров, на сердце боль.

– Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара.

Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного.

– Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне.

– И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы.

– И твои, дорогой!

– Твои очи темней обожженного пня.

– И твои.

– Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди – как свежее масло. Твои очи – как серп новолуныя.

– Клянись, – просит она, – обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца.

Он повертывается к луне.

...А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил Степной царь уже отдал приказ к перекочевке.

Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, оббивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разобрали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ошипанный филин с огромной головой и поскакал в степь.

Караван двинулся тоже в ту сторону.

Скачет ошипанный филин. Катится черное перекасти-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнею в старый след на кочевой дороге.

Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой спрашивают, где обетованная страна?

Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить

И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег.

Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы.

Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская.

А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный Араб.